



10 1990

ОКТЯБРЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
РСФСР,
СОЮЗОВ
ПИСАТЕЛЕЙ
КАРЕЛЬСКОЙ
И
КОМИ
АССР,
АРХАНГЕЛЬСКОЙ,
ВОЛОГОДСКОЙ,
МУРМАНСКОЙ,
НОВГОРОДСКОЙ
И
ПСКОВСКОЙ
ПИСАТЕЛЬСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Издается
с июля 1940 года

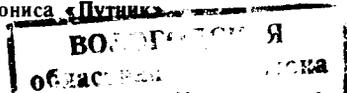
Петрозаводск, «Карелия»
© «Север», 1990 г.

В Н О М Е Р Е

Василий БЕЛОВ — «С дубовых трибун и с гнилых парашютов...», стихотворение	2
<i>Проза и поэзия</i>	
Нина ВЕСЕЛОВА — Годовые кольца, документальная повесть	3
Юрий ЛИННИК — Два времени, стихи	31
Борис КРАВЧЕНКО — Два рассказа	34
Альбин ГВОЗДЕВ — Девятый день, рассказ	40
Юрий ШАРКОВ — Таежный вечер, стихи	52
Александр ПОШЕХОНОВ — Мне не будет покоя, стихи	53
Якоб ПАЛЬМЕ — Катрин слишком много знала, роман	54
<i>Далекое-близкое</i>	
Александр КАМКИН — Судьба и мысли народного депутата	78
<i>Проблемы и суждения</i>	
Свен ЛОККО — Кто уничтожил леса Кольского полуострова	
<i>Зарубежные поездки</i>	
Дмитрий БАЛАШОВ — Город Фрайбург в Германии	91
<i>Воспоминания</i>	
М. М. ТУГАН-БАРАНОВСКИЙ — Встречи	110
<i>Память огненных лет</i>	
ААРРЕ САЛЛИНЕН, ПАВЕЛ ЛЕОНТЬЕВ — Узники финского лагеря № 11	129
<i>Критика</i>	
Ст. ЗОЛОТЦЕВ — Бездна, полная звезд	138
Виктор КОРОТАЕВ — Постижение продолжается	147
По страницам скандинавской печати	155
Почта «Севера»	157

На вклейке:

Портреты Михаила Федорова
Керамика Валентина Ткача 80-81
На второй стр. обложки
фото А. Тюниса «Путник»





Виктор Вениаминович КОРОТАЕВ родился в 1939 году в Вологде. Окончил педагогический институт и Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького. Автор многих поэтических сборников, лауреат премий имени А. Фадеева и А. Яшина, Всесоюзного литературного конкурса имени Н. Островского. Член Союза писателей СССР. Живет в Вологде.

ПОСТИЖЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

1. Запоздалые слова к юбилею

В марте 1988 года исполнилось бы семьдесят пять лет выдающемуся русскому писателю Александру Яковлевичу Яшину. Вся жизнь его — верное служение Отечеству. Конечно, со срывами, ошибками, пересолами, заскоками. Но всегда искренними, идущими порой от чрезмерной уверенности в правоте избранного решения.

Яшин оставил глубочайший след не только в современной литературе, но в народном сознании — тоже, в осознании своего достоинства — особенно, в нравственном и гражданском смысле — тем более. В позорные времена раболепия и низкопоклонства, беспардонного волонтаризма и командного окрика, раздувания нового культа, хамства и наглости Яшин заговорил о самом изначальном и необходимом, без чего не может быть в человеке человека. И слова эти прозвучали как гром, потому что были нами почти забыты. Во всяком случае, редко употребляемы.

В несметном нашем богатстве

Слова драгоценные есть:

Отечество,

Верность,

Братство.

А есть еще:

Совесть,

Честь...

Ах, если бы все понимали,

Что это не просто слова,

Каких бы мы бед избежали.

И это не просто слова!

И все словно очнулся. Вспомнили, наконец! И этому пробуждению во многом способствовал Яшин.

Поэтому особенно дико и до горечи несправедливо, что его 75-летие было, по существу, замолчано. Кем? Почему? Теперь не доищешься. Но фамилия его не значилась в списках юби-

ляров. И это в Правлении писателей России...

Трудно придумать большее кощунство. Все последние годы писатель почти не печатался, потому что писал только правду. Жил очень напряженно и трудно.

И вот в пору гласности, словно в отместку за непокорность и излишнюю строптивость, — как бы забыли...

Необходимо поправить эту несправедливость. И пусть с запозданием, но сказать об этом редком человеке свои, хоть и бедные, однако искренние слова.

Когда мы говорим о творчестве товарищей по перу, в оценках обычно помимо нашей воли неизменно присутствует та доля снисхождения и благосклонности, которая мешает объективному и точному обозначению истины. Но есть писатели, для которых подобная снисходительность не только не нужна, но даже оскорбительна.

К таким писателям, безусловно, относится Александр Яшин.

Вологодская земля, счастливо связанная с именами Константина Батюшкова, Владимира Гиляровского, Павла Засодимского, Сергея Орлова, Николая Рубцова и многих других русских деятелей культуры, в ряду выдающихся имен не может не назвать одного из самых верных и достойных сынов своих, который сам о своей сельской родине говорил так: «Жизнь моя и ныне целиком зависит от того, как складывается жизнь моей родной деревни. Трудно моим землякам — и мне трудно. Хорошо у них идут дела — и мне легко живется и пишется. Меня касается все, что делается на той земле, на которой я не одну тропку босыми пятками выбил на полях, которые еще плугом пахал; на пожнях, которые исходил с косой и где метал сено в стога. Всей кожей своей я чувствую и жду, когда освободится эта земля из-под снега, и мне не все равно, чем засеют ее в нынешнем году и какой она даст урожай...»

Значение Яшина-гражданина, Яшина-патри-

та своего края трудно переоценить. Он много сделал для его процветания и воспел в десятках прекрасных стихотворений. Но назвать Яшина певцом только Севера было бы несправедливо. Как большой и истинный художник, он стремился к широкому огляду развернувшейся жизни и умел глубоко проникать в ее плоть и чувствовать тайный смысл происходящего. От подробного и пристрастного изображения с детства знакомого северного быта он шел к психологическому осмыслению явлений, доискивался до сути вещей и фактов, вскрывал тайные пружины диалектики. Именно этот период его творчества был наиболее мучителен и плодотворен:

Не затем я молчу,
Чтоб скрываться,—
В нашей жизни хочу
Разобраться.

Эта постоянная самоуглубленная работа вывела порою поэта к неожиданным и нелегким прозрениям и давала право и свободу делать серьезные и решительные обобщения. Яшин «разбирается в нашей жизни» со всей дотошностью исследователя, честностью гражданина и резкостью публициста.

Последнее качество приносило ему много тревог и огорчений, но он оставался верным до конца избранному пути и своей последовательностью и стойкостью подвигал других на такое же мужественное и убежденное служение истине. Гордое сознание собственной бескомпромиссности и справедливости в самые тяжелые времена диктовало поэту строки удивительной силы и достоинства:

Из-за утеса, как из-за угла,
Почти в упор ударили в орла.

А он спокойно свой покинул камень,
Не оглянувшись даже на стрелка,
И, как всегда,
Широкими кругами,
Не торопясь, ушел за облака.

Быть может, дробь совсем мелка была —
Для перепелок, а не для орла?
Иль задрожала у стрелка рука
И покачнулся ствол дробовика?

Нет, ни дробинки не скользнуло мимо,
А сердце и орлиное ранимо...
Орел упал,
Но средь далеких скал,
Чтоб враг не видел,
Не торжествовал.

Родная земля, к которой неизменно припадал поэт в лихие непогодные поры, давала силы для новых трудов, она учила его мудрости и терпению и внушала фанатичную веру в добро. Случалось, что поэт жаловался на несправедливо суровую к нему судьбу; бывало, замыкался надолго в своей обиде; но никогда не склонял головы перед невзгодами, не отрекался от своей высокой веры, не поддавался отчаянию и бессилию. Он сознавал, что «обречен на подвиг» и что «этот трудный жребий приняв как бла-

годать, он о дешевом хлебе не вправе помышлять».

Истинная литература — всегда подвиг. Многие это сознают, но немногие на него отваживаются. Служение родной литературе, а через нее и Родине своей, и людям ее Александр Яшин видел в неукоснительном служении нерушимым принципам правды, честности, идеалам справедливости и добра, то есть всему тому, что народ издавна чтит прежде всего и превыше.

В этом смысле вполне закономерно говорить о народности творчества А. Яшина, имевшего в своем активе незаимствованный живой язык и прекрасное знание человеческой души, ее забот, надежд и стремлений.

В своем письме редколлегии «Дня поэзии», которая попросила поэта ответить на анкету о народности поэзии, о национальных и классических ее традициях, Яшин говорил: «Писать надо, друзья мои! Писать о том, о чем хочется и как хочется, и только так писать, как можно полнее. Выказывать себя, свое представление о жизни, свое понимание ее и, конечно, как можно правдивее — правдивее настолько, насколько позволяют собственный характер и уважение к своему человеческому достоинству. Лишь в этом случае можно быть счастливым и достичь в литературе чего-то своего, не изменив ее великим традициям. Только такая работа будет и партийной и народной»...

Это понимание пришло к поэту не сразу, но зато когда пришло — творчество Александра Яшина приобрело новую высоту, поднялось до осознания вечных и непреложных истин, а поэтический и гражданский голос его получил такой мощный ответный отклик современников, каким может только гордиться поэт. Муза Яшина никогда никого не оставляла равнодушным, потому что сам Яшин по отношению к жизни проявлял не обычное любопытство или заинтересованность, а мучительную и мятущую любовь, предполагающую и восторг, и слезы, и восхищение, и требовательность, и горечь, и счастье. Может быть, именно это чувство (впрочем, не может быть, а наверняка) сообщало поэзии А. Яшина завидное полнокровие.

Он был постоянно обеспокоен вопросом: «Так ли живу?» Его повышенная совесть всегда бунтовала при виде совершающейся несправедливости. Только в ладу с собственной совестью, только с полной отдачей душевных сил можно жить и считать себя человеком — вот мотив многих и многих произведений А. Яшина. И стихотворение «Мертвые деревья» как раз о том, что не все живо, что притворяется живым.

Кору обдирая с сушины,
Работают дятлы чуть свет,
Прорубятся до сердцевины,
А сердцевины нет.

В творчестве Яшина всегда и прежде всего ощущается именно эта сердцевина — неуемная душа, острое и пронзительное чувство, бескомпромиссная мысль и воля.

Все эти черты характерны не только для его поэзии, они ощутимы в той же степени и в его прозаических вещах.

Замыслы писателя были обширны. В послед-

ние годы он много сил отдавал прозе. Но при жизни увидел напечатанными лишь некоторые вещи. Основное же лежало в столе. В нашей стране в те годы Яшин не смог издать даже своего прозаического однотомника. Зато этот однотомник благополучно вышел в ФРГ без каких-либо усилий автора... Еще один факт, говорящий не в нашу пользу, потому что за этим фактом стояла тенденция.

Но бессмысленно, а главное, бесперспективно копить обиды. Полезней думать о том, как ограждать отечественную культуру от возможных посягательств в настоящем и будущем. Именно с этой озабоченностью мы и обращаемся к опыту Александра Яковлевича Яшина, вдосталь хлебнувшего лиха за свою недолгую жизнь. Его нет с нами уже почти двадцать лет, а ему бы 27 марта 1988 года исполнилось всего 75. Вполне мог бы жить среди нас и работать; да очень уж много развелось радетелей укорачивать век истинным патриотам и гражданам своей земли. И об этом грех забывать.

II. Военная одиссея

Часто случается так, что со смертью незначительного писателя и без того скромный прижизненный интерес к нему гаснет окончательно. Иная судьба ждет писателя истинного. Неугасший читательский интерес к его непохожей личности, не постигнутый до конца, но постоянно будоражащий магнетизм его творчества — все это обостряется с уходом писателя из жизни и возвращает нас вновь и вновь к его книгам, письмам, дневникам.

Творчество Александра Яшина всегда было в центре читательского внимания. Его резкая индивидуальность, всегда обостренное восприятие происходящих жизненных процессов утвердили за ним репутацию одного из самых совестливых поэтов современности, непримиримого ко всему косному и лживому, сострадательного и болеющего за все доброе, гуманное, честное.

У него был свой читатель, которого он не тешил и не забавлял облегченными стихотворными пересказами, не интриговал изысканными формалистическими находками, но с которым вел серьезный и глубокий разговор о самом насущном, самом наиболее и неотложном, и такой разговор впору назвать государственным.

В опубликованных впервые журналом «Октябрь» дневниках военной поры Александр Яшин снова предстает истинным гражданином своей многострадальной Родины, на протяжении многих месяцев и лет ведущей жестокою борьбу с фашизмом. Вот одна из первых записей: «Вчера у зам. начальника ПО Белова встретился с комиссаром ИУРа (Ижорский укрепрайон) полковым комиссаром Ячничковым и, воспользовавшись встречей и тем, что как раз просматривались списки партизанского отряда, выпросил разрешение пойти в тыл врага с одним из отрядов. Аргументация такая: писателю надо больше видеть. Эта война такова, что вопрос жизни одного человека ни перед кем не должен стоять. Смерть и жизнь случайны. Где ты погибнешь — неизвестно. Русские поэты всегда и в войнах были образцом храбрости и ин-

циативности при защите своей родной земли. Себя я уже проверил: был не в одном бою и в очень серьезной разведке». И далее: «Скажу для себя: все продумал и решил даже на смерть, если выхода не будет — в плен сдаваться, срамить славу русских поэтов нельзя...»

Такова была моральная установка Яшина-гражданина, такой была его душевная потребность разделить с Родиной все ее тяготы и испытания.

Прочитывая дневники страницу за страницей, поражаешься этому огромному внутреннему заряду, который носил в себе Александр Яшин. Врожденное чувство близости ко всему дорогому его сердцу — родной земле, ее выносливым немногословным людям, синему небу и морозным снегам, зеленеющим деревьям и примолкшим водам — помогает А. Яшину рисовать по-настоящему драматические картины военного времени. Не случайно он оговаривается, что ведет дневник для того, чтобы не забылись необходимые подробности. Видимо, дневник со временем должен был стать основой серьезного повествования. В этом убеждает и приписка, сделанная в начале рукописи уже в 1964 г.: «Ленинград в годы блокады — не тема для сочинений. Тут все пахнет кровью и не требует домыслов. Более сильных картин людского горя и героизма не может представить себе самое воспаленное воображение. В этом случае надо писать либо так, как все было, как ты видел, либо не писать совсем. Я много лет не мог рассказывать о виденном и пережитом в Ленинграде... Даже своим близким людям. Все казалось, что принужу пережитое и перечувствованное. Тем более, что рассказчиков хватало и без меня...»

Ленинградские записи Александра Яшина полны драматизма и по-особому обостренного чувства жизни. Там, в осажденном Ленинграде, он испытал и настоящий патриотический подъем, и неподдельную дружбу близких людей, и творческое вдохновение. Невозможно без восхищения читать страницы бескорыстной помощи А. Яшина семье Рожавиных. Понимая, что Ольга Рожавина — гордая и выносливая девушка — не хочет быть обязанной никому, даже когда ей и отцу грозит смерть, и не принимает благотворительности, А. Яшин замечает: «Мне и верно очень хочется сделать добро. Имеет же всякий человек право на это. Ни о какой благодарности я и не думаю. Мое внутреннее удовлетворение, если мне удастся спасти их, отблагодарит меня...»

После этих дневниковых записей еще понятнее и ближе становятся слова поэта Александра Яшина «Спешите делать добрые дела!», понятен их исходный момент, их выстраданность, сила и непреложность.

В Александре Яшине всех знавших его близко удивляло и радовало неразрывное единство между собственно его личностью и тем, что он писал. Он не двоедушничал, не называл черное белым, а говорил как истинный гражданин всю правду, до конца, не оглядываясь, какие это несет последствия для него лично. Достаточно вспомнить хотя бы «Вологодскую свадьбу», надлежавшую в свое время так много непонятого шуму и в конце концов признанную как честный документ определенной поры.

Об этом приходится вспоминать для того, чтобы понять личность большого художника, который свято относился к литературному делу и не поступался вызревшими принципами, не искал легкого хлеба, а шел по избранному пути с полной ответственностью и сознанием действительного патриота своей земли.

Военные дневники — жанр особого рода. Сама обстановка, горячая и трудноуправляемая, заставляла стремительно реагировать на события и мало располагала к спокойному философскому осмыслению происходящего. Это все предполагало в будущем, а пока — сфотографировать аппаратом памяти наиболее важные факты, постараться не пропустить главного, важного, определяющего.

И Яшин с завидной последовательностью и страстью вновь и вновь возвращается к своим дневникам, понимая, что они впоследствии станут для него неоценимым материалом для большой работы о войне. (Надо понимать, что сам писатель не предполагал публиковать военные дневники в их обычном виде, но подумывал о прозе всеречь). И, конечно, совершенно недопустимо сравнивать яшинские дневники с дневниками, например, ренаровскими. Тем более — толстовскими. И дело тут не только в масштабах таланта: дневниками Достоевского или, скажем, Пришвина можно пришибить любого. Дело еще и в художественных наклонностях, творческой позиции и темпераменте. Яшин сам понимал — при всей необходимости для того времени — несовершенство многих своих стихов и прямо об этом говорил в дневниках 1943 года: «Напечатал за этот период около семидесяти стихотворений. Надо сказать, что многие из них имели характер эпизодический, как это и бывает в таких случаях, и в сборники мои не вошли...» Но и не писать их он не мог, так как большой творческий путь его являет нам писателя порывистого, очень раннего, глубоко понимающего запросы времени и в полную меру сил своих старающегося отобразить это время. Поэтому и получился дневник таким резким и обжигающим документом военной и всенародной страды.

Необходимо добавить ко всему сказанному, что в недавнем трехтомном собрании сочинений Александра Яшина этим материалам отведено достойное место, потому что — по справедливости — представление о личности поэта без них было бы неполным.

III. Из области воспоминаний

Порой на выступлениях спрашивают: когда вы начали писать? Спрашивает обычно молодежь, которая сама пишет. Потому и беспоконты: не поздно ли, не рано ли, стоит ли вообще? Отвечаю обычно шуткой: первое стихотворение написал, когда первый раз влюбился, а влюбился в четырнадцать лет. С тех пор, мол, и повело... В этом тоже есть своя правда, но все-таки первое четверостишие сочинил не о любви.

В Ковырине (официально — Октябрьском поселке) у нас была своя довольно дружная и в меру хулиганистая компания. Господствовало равенство, никто не смел в одиночку выпялиться напоказ. Особенно образованностью,

отличными показателями в учебе, отглаженными штанами и чистой рубашкой. Почитались только сила, ловкость, демократизм.

И вот нашелся один хмырь, который везде и всюду начал подчеркивать собственное происхождение, начитанность, чистоплюйство. При каждой его выходке мы тихо закипали, потом поднимали его на смех и — сторонились. Иногда он огрызался, отбивался от нас чуть не кулаками. Но — что всего необычной и оскорбительней — частенько хлесткими эпиграммами. Это настолько обезоруживало и злило, что мы никак не могли сладить со справедливым негодованием, а выхода не находили. И вот тогда один из тогдашних друзей, зная мое увлечение современными поэтами, и предложил: «Слушай, заделай ему козыю рожу тоже». Я решил «заделать». И сочинил целую сатиру. Беспомощную, конечно.

Но сам процесс писания так увлек, что к десятому классу я пришел с толстой тетрадкой, исписанной «под Маяковского». Кроме того, сочинил к тому же времени одноактную пьесу в стихах и рассказ в прозе. Все это показал Сергею Викулову, он что-то там увидел и пригласил в литобъединение при газете «Красный Север». Для уверенности я прихватил на заседание верных товарищей из ковыринской компании: мало ли чего может произойти, а эти не срейфят.

Обсуждали первый сборник Александра Романова «Признание друзьям». Шуму было много. Особенно бушевали критики. Оскорбленный Виктор Гура даже поместил вскоре заметку в том же «Красном Севере» — «Медвежья услуга». Ругал языковеда Головина за то, что тот слишком мягко подошел к разбору языковой структуры романовского сборника.

Товарищи мои после первого заседания поморщились — зря только время потеряли: все шумели, кричали, кулаки сжимали, а никто друг дружке даже по уху не съездил. Обманули надежды... А мне понравилось, и я начал регулярно посещать заседания. Благо, никто не гнал.

Благополучно окончил школу, поступил работать. Литобъединение заседало уже в здании Вологодского книжного издательства на углу Чернышевского и Гоголя. Тут я впервые и увидел Александра Яшина. Он сидел в переднем углу просторной комнаты, глуховатым голосом разговаривал, поменявшись с тогдашним директором учреждения Малковым Владимиром Михайловичем, сухоньким, но жилистым застенчивым человеком. У Яшина готовилась к изданию книга, видимо, этот момент и обсуждался. На всех входящих Яшин внимательно и зорко поглядывал, не отвлекаясь больше на разговоры, а когда Викулов предоставил ему слово, он, вместо того, чтобы говорить самому, попросил поэтов почитать новые стихи.

Не встречал до сих пор человека, столь искренне и по-доброму заинтересованного в работе своих товарищей. Слушал он сосредоточенно, цепко глядя в лицо читающему, словно восполняя этим то, чего не доставало в стихах.

Я принес свои первые пробы на рабочую тему. Тогда это было очень престижно. Все только и говорили что о рабочем классе, трудовых мозолях, о душе как-то и напоминать было не-

ловко. Раз о ней, значит — мешанство, тоска, самокопание, никакого социалистического реализма. А у меня на стене прямо перед глазами над письменным столом висел листок со всем перечнем его неукоснительных параграфов...

Яшину, видимо, не шибко понравились наши самодельные стишата, потому что он почти ничего о них не говорил, а без особой подготовки и предисловий передал ходивший в столичных кругах анекдот о Семене Кирсанове, в те годы довольно популярном и много печатавшемся.

Отец поэта был сапожник. В поте лица добывал хлеб свой. Кормил, разумеется, и начинающего поэта. А Сеня, чтоб не подумали, будто даром хлеб ест, иногда приносил отцу исписанные стихами листы. Тот внимательно все изучал, потом поднимал страдальческие глаза:

— Все правильно, Сеня: рифма, размер, ударные, безударные... Но, Сеня, где мысль? Где мысль, Сеня?

Все смеялись, и Яшин серьезно и внушительно заключил:

— Так что, не забывайте, друзья, об этой самой «мысли».

Вскоре я встретил его, видимо, ранней весной, в центре города рано утром, когда спешил на работу в свою столярную мастерскую артели «Вологодский игрушечник». Яшин шел с толстой лакированной коричневой палкой, высоко подняв голову, устремив вперед орлиный нос с резко обозначенными крыльями и вперив во что-то острый сосредоточенный взгляд. Меня, конечно, не видел. Я догнал и поздоровался, довольно робко. Яшин удивленно поднял рыжеватые брови, словно спрашивая: «Это еще что за фрукт?», но потом, видимо, припомнив, улыбнулся, прикоснулся к моей суконной рабочей форменке и спросил:

— Куда торопимся?

— На работу.

— А где работаете?

— Вот тут, — указал я на дом бывшего горисполкома.

— Что, в горисполкоме? — приподнялись удивленные брови.

— Нет, в столярке, в подвале.

— А посмотреть можно?

Мы спустились в подвал по шербатым ступеням. Пахнуло сухим деревом, дресвяной пылью шлифовальных кругов, клееной фанерой, скипидаром, лаками, свежими опилками. Яшин глубоко втянул в себя необычный букет, покрутил головой. Подвальные потолки были настолько низкими, что он невольно пригнулся, вбирая голову в плечи, но высокую папаху не снял. Рабочие с любопытством разглядывали его, принимая, видно, за большого начальника, как же: папаху, добротное пальто и — главное — необычная, явно столичная — палка. А он подходил к одному станку, к другому, вертел в руках только что выточенные токарем поделки, улыбался, расспрашивал, из какого дерева, сколько стоит в магазине и сколько платят за изготовление. Все его интересовало.

— Ну, а на чем работаете вы? — обернулся ко мне.

— У меня два станка! — гордо заявил я.

— Даже так!

Показал сначала выпилочный, где готовил

крупные детали коней-качалок. Сбоку на металлической столешнице лежала чистая полоска фанеры и карандаш:

— А это мои письменные принадлежности.

— То есть?

— Выпиливаю качалку и сочиняю, а стихи записываю на фанере.

— Лихо! И получается совместительство? — Яшин смотрел с интересом. — Так недалеко и до травмы.

— Пока бог милует...

Добзиковый станок, сделанный из обычной швейной машины, разглядывал с любопытством и даже некоторым восхищением.

— Чего только не придумают. Действительно, голь на выдумку хитра.

Потом, расставаясь, пригласил к себе в гостиницу. Обязательно со стихами. Посмотрев рукопись, неопределенно помолчал и по-отечески тепло сказал:

— Учиться вам надо. Обязательно. Не обольщайтесь производственной работой, она для биографии, конечно, нужна. Но что у вас там? Какое это производство? Петушки да меленки... Несерьезно. Надо работать над другим — над душой! У Лермонтова не было производственного стажа. И у Пушкина — тоже. Однако писали не хуже нынешних... маяков пятилетки.

Это было столь необычно слышать от Яшина. Все только и долбили, что без рабочего стажа настоящим писателем стать невозможно, а тут... И больше всего поразило и подкупило, что Яшин со мной, вчерашним школьником, говорит так серьезно, озабоченно, непонарошку.

— Хотите, я дам вам рекомендацию в Литературный институт? — вдруг предложил. Это было пределом несбыточных желаний!

Но почему-то сорвалось тогда, к счастью. Не помню — почему. Рекомендацию он дал, но на экзамены меня не пригласили. Значит, не прошел по конкурсу. И я поступил в Вологодский пединститут, о чем никогда не жалел. И сейчас не жалею.

В следующий приезд, когда я учился уже на втором курсе, Александр Яковлевич снова завел разговор о Литинституте. Меня уже тогда поражала эта родительская заботливость его о молодых, постоянное забывчивое к ним внимание. Что мы тогда стоили! Что умели? Все было только в начале, в зародыше, хило, бледно, робко. Но он видел в нас настоящих писателей. Во всяком случае, так относился — серьезно, уважительно, требовательно. Слово не допуская мысли, что мы остановимся в росте, не разовьемся, не возьмем, не достигнем необходимых высот. Это заставляло подтянуться, посмотреть на себя более сурово и строго и не позволять себе расслабиться, чтобы вдруг да не оправдать надежд самого Яшина.

Как-то мы вместе выступали в Доме политпросвещения. Я пролетел полуфельетонное, слезливое стихотворение «А дома трое ребятишек», только что опубликованное в газете, которое потом никогда не перепечатывал, стыдился. Но Яшин по окончании вечера, когда шли по улице, прожывая его, обнял за плечи и так, чтоб другие слышали, глуховато проговорил:

— Кому-то эти стихи могут не понравиться.

Ну что ж, вполне возможно! Но вы не бойтесь,

не зашоривайте себя. Раз пишется и такое — пишите, ни на кого не оглядывайтесь. Сами разберетесь потом что к чему и от лишнего откажетесь.

Эта поддержка так была нужна тогда, что, видите, запомнилась до сих пор!

Он снова написал мне рекомендательное письмо в приемную комиссию Литературного института. Я прошел конкурс и, забрав документы в своем ректорате, покатил в Москву. Вступительные экзамены были сданы без особых усилий: все-таки за плечами два институтских курса филфака, не хухры-мухры! На «мандатной комиссии», как ее тогда называли, а проще — на собеседовании с руководством института поэт Александр Коваленков спросил в упор:

— Зачем вам, окончившему два курса пединститута, начинать все сначала? Разумно ли? Твардовский тоже не кончал нашего заведения и не жалеет. Даже наоборот. Всячески ругает еще: пьют молодые гении, скандалят, богомсто живут. Мой вам совет: возвращайтесь обратно в Вологду и спокойно работайте. Не прогадаете.

Тогда я обиделся. Позвонил Яшину. Его не было в Москве. Считаю, что это провидение. Очень рад, что так получилось. И Коваленкову — благодарен. Яшина, правда, известие о бесславном возвращении огорчило. Он хотел обратиться в ректорат Литинститута, но я отговорил.

Александр Яковлевич следил за нашими публикациями, даже газетными. Помню, как-то в «Вологодском комсомольце» он прочел подборку Александра Романова, всю от строчки до строчки, и с наслаждением произнес: «Какой талантливый человек!» Похвалу Яшина было не просто заслужить, поэтому фраза и врезалась в память. Хотя и предназначалась для другого...

После института я отслужил в армии, выпустил вторую книгу стихов. Меня приняли в Союз писателей. На радостях съездил с Ольгой Фокиной в Москву; там зашел в журнал «Молодая гвардия». Она познакомила меня с зав. отделом поэзии Искрой Витальевной Денисовой. Та отобрала большую подборку моих стихов и спросила:

— Кто бы мог написать врезку? Кого знаете из знаменитых поэтов?

Когда назвал Яшина, воскликнула:

— Прекрасно! То, что надо. Александр Яковлевич — это великолепно! — Тут же набрала номер телефона и поморщилась. — Нет дома. Только что уехал в Вологду.

— И мы сегодня едем!

— Чудненько, — со столичной гибкостью отреагировала И. Денисова. — Вы сможете его увидеть?

— Наверное, — промямлил я.

— Очень хорошо. Разуштите, передайте от меня привет и попросите написать врезку. Договорились?

И как в решенном деле подвела черту:

— Ну, вот и ладненько.

Что-то смутно тяготило меня, но всей глупины собственной глупости я тогда, разумеется, не понимал. Писательской этике никто не учил. Своего ума-разума не хватало. Пришлось постигать сию премудрость на ходу — через тычки и таски.

Сказали, что Яшин остановился в гостинице

«Вологда». Разушсал номер, созвонился, направился в гости. По недовольному голосу понял, что не время соваться; нет, полез-таки! Сам полез, никто не подталкивал. До чего ж бываем глупы и самонадеянны...

У Яшина были посетители, местные начальники, принимавшие прямое или косвенное участие в травле в связи с публикацией «Вологодской свадьбы». Видимо, пришли объясниться; время, мол, такое было, пришлось подкакивать; а теперь-де изменилось, разъяснилось, что никакого очернительства в «Свадьбе» не было, а мы-де и прежде это знали, видели, да куда денешься. Явно пришли за реабилитацией, не случайно- поэтому и вдвоем, для обоюдной поддержки. Поодиночке-то «сгузали», страшновато. Но Яшин предательства не выносил и не прощал. Я поспел к самому апогею, когда распаренные посетители уже топтались в прихожей, не провожаемые, а явно выпроваживаемые хозяином, который метал взглядом молнии и рокотал словесными громами.

Приди получасом позже, все бы, может, обошлось. Но я возник именно в это критическое время и попал под горячую руку, под самый запал.

— Вам что? — как бы не узнавая меня, спросил Яшин, вонзая взгляд.

— Вы сказали, что можно зайти, — залепетал я. — Разрешили...

— Да, разрешил. По какому делу все-таки? — Насчет врезки.

— Какой врезки?

Путано объяснил ему свою надежду, испытывая горький стыд от того, что все это слушают еще не убравшиеся посетители, конечно, презирующие меня в эту минуту. Вон как ухмыляются! И так обидно, что Яшин уравнивал меня с ними, хотя я никогда дурного слова о нем не говаривал. Скорей — наоборот. А он, словно не замечая моего позора, отчитывает, как, наверное, только что отчитывал этих двоих:

— Вы написали стихи. Стихи понравились в журнале, их приняли. Все! На этом ваши функции закончены. Если журналу необходима врезка, они сами обратятся ко мне. Мы хорошо знакомы с главным редактором Никоновым. А вам, автору, ходить и выпрашивать для себя похвальное слово — не годится.

Весь не выпущенный до этого гнев теперь обрушился на меня. Я пулей вылетел из гостиницы, ненавидя себя и Яшина, и поклонялся в душе, что никогда больше не обращусь к нему ни за чем. Урок был преподан жестокий и достойный. И незабываемый!

Конечно, не рискуя бы тревожить его по таким пустякам; но больно уж я стал фамильярен, распустился, рассолодел, видя и чувствуя постоянную поддержку и симпатию знаменитого и очень почитаемого поэта. К тому же он мне и рекомендацию в Союз давал. Ну, а кому он отказывал? Опять не припомню другого писателя, который бы столь радушно, с постоянной сердечной готовностью откликнулся на всевозможные просьбы и нужды земляков. С его рекомендациями вступали в СП СССР и Викулов, и Дементьев, и Белов, и Рубцов, и Чулков... При всей строгости и взыскательности он был очень добрым и участливым человеком.

И вот я его для себя потерял. И встреч намеренно не искал.

Света нас поездка по Волго-Балту. В те поры обком партии начал придавать большое значение непосредственным писательским контактам с читателями. Нам выделяли агиттеплоход, и мы отправлялись из Вологды, например, по Сухоне до Устюга. И в течение недельного пути проводили широкие и многолюдные встречи в районных Домах культуры, в леспромхозах, колхозах и совхозах, на предприятиях. Очень интересные и полезные получались поездки, сближали не только творцов с почитателями, но и писателей между собой. А это ой как немаловажно!

От Яшина невозможно было что-нибудь скрыть. Он видел всякого насквозь. И, конечно, сразу же заметил, что я избегаю его, сторонюсь, ухожу в тень, увиливаю от разговоров. Тогда он впрямую спросил:

— В чем дело? Я чем-нибудь обидел вас?

Много настрадавшийся от человеческой черствости, бездушия, расчетливого угодничества и начальнической самоуверенности и грубости, он чутко улавливал душевный дискомфорт любого безразличного ему человека и был внимателен и заботлив. Одним словом, пришлось не только признаться, но и рассказать все в подробностях.

— Ничего не помню! — искренне огорчился он. — То, что эти двое приходили, помню. Говорили на повышенных тонах — да. А вас в тот вечер, хоть убей, не припомню.

— Ну и прекрасно, — облегченно вздохнул я. — Значит, ничего и не было.

— Нет, видимо, было, раз вы столько времени избегали меня. Было, и никуда от этого не деться. Но, если вы примете мои извинения...

— Да что вы, Александр Яковлевич, ничего не помню и помнить не хочу.

— И слава богу. Значит, мир?

— А никакой войны и не было.

— И быть не должно! Если мы еще будем друг другу глотки рвать... Многие только этого и ждут, это и провоцируют. Легче ведь управлять разобщенными да опустившимися. Легче и перебить поодиночке-то. Нельзя об этом забывать!

Вечером пригласил в свою каюту, попросил почитать новые стихи. Одобрительно отозвавшись, вдруг предложил:

— Давайте их устроим в «Советский писатель».

— У меня там принята рукопись, — не без гордости сообщил я.

— А в «Советскую Россию»?

— И там обещают издать.

Я действительно переживал счастливый творческий период, в результате которого в 1969 году вышли сразу три новые поэтические книги — «Жребий», «Мальчишки из далеких деревень», «Липовица». Но Яшину так не терпелось сделать добро, что все-таки не унимался.

— А в «Новом мире» не хотите печататься? У Твардовского, а?

— Кто же не хочет...

— Тогда отберите самое лучшее, а я с ним переговорю.

Невозможно было им не любовать: широкой, душевностью, щедростью, демократизмом, то есть доступностью для всех.

На банкете в Оште мы сидели рядом. Он предложил выпить на брудершафт и стал называть на «ты», а я так и не смог. Потому что авторитет Яшина был настолько высок и настолько особняком стоял он в своем творчестве, истовости, борьбе, что приятельство в отношении никак не годилось, а обращение на «ты» при современном этикете его предполагает. А потом, я уже недолюбливал фамильярность.

Вскоре мы в одной лодке с ним и Рубцовым ловили подлещиков. Яшин был очень удачлив в рыбалке. Нащупывал ямку — и таскал одного за другим. Кое-что перепало и мне, потому что расположился поближе к лидеру. А Рубцов сидел на противоположном конце лодки, и у него совсем худо клевало. Николай Михайлович злился, вслух ругался и дергался, окончательно отпугивая и без того пугливую рыбу.

В Вытегре как-то сам собой сочинился прощальный банкет. Инициатором был Яшин. На двоих с Дмитрием Голубковым им «Красный Север» отдал под стихи целую страницу, хорошо заплатил, и Яшин, видя, что местные власти не собираются угощать честную компанию, вызвался все организовать сам. И организовал самым чудесным образом. Тогда это не возбранялось. Все ждали от него веселого бодрого тоста (ведь поездка-то завершается великолепно, злые поводы), а он по существу стал со всеми заранее прощаться. Причем не все и не сразу осознали трагическую сущность его откровений. В том числе и я. Яшин оглядел расположившихся за столом и потом — по кругу — о каждом сказал слова-характеристики, не длинные, но пронзительные. Это были напутствия, добрые, честные, точные, отеческие напутствия — Белову, Романову, Рубцову, Чухину, Беляеву... Только о Дмитрии Голубкове не стал говорить ничего, отшутился: — Сам редактор, в «Советском писателе» работает, других учит. Ему мои оценки не нужны.

Прошло более двадцати лет с тех пор, и отчетливее видишь правоту и пророческую суть яшинских характеристик. И содрogaешься при мысли, что он ясно предчувствовал собственную кончину и столь мужественно шел ей навстречу.

...Я только что вернулся из очередной командировки и вознамерился хорошенько отдохнуть. Но через каких-нибудь пару часов пришел совершенно убитый Василий Белов и сказал, глотая слезы, что Александр Яковлевич скончался. Немедля отправились на вокзал и рано утром были в Москве. Тут же поехали в Лаврушинский переулок, в его квартиру. Домашние, видимо, не спали всю ночь, потому что сразу открыли, попытались угостить завтраком, но ничего не лежало в рот.

Давно замечено, что меньше всего хлопот с живущим человеком: сам за собой приборет, сам себя обслужит, пригласишь — придет, прогонишь — уйдет. За покойного все делают другие. К тому же при нашей бюрократии одних бумаг нужно оформить гору, прежде чем предать человека земле. Москва словно решила не выпускать Яшина за свои пределы и всячески препятствовала вывозу на родину. А завещал он себя похоронить на Бобринском угоре и место Белову указал. Топнул ногой возле старой березы:

— Здесь. Запомни это место,— и добавил.— Даже если придется хоронить не тело, а урну.

Все предвидел, все оговорил... Но быть сожженным ему очень не хотелось.

Час грянул, и настал срок исполнять последнюю волю поэта. Сколько пришлось вносить чиновникам, что кремировать нельзя, потому что гроб с телом нужно доправить на родину покойного, в деревню, а там люди не поймут нас, если привезем урну с прахом. С трудом убедили. Но надо было решить транспортную проблему. Простой деревянный гроб не берут. Нужно, чтобы сначала был цинковый, запаянный. А уж он ставился в деревянный.

На Ярославском вокзале удалось договориться с каким-то человеком по фамилии Канканидзе из почтового отделения, что он поможет. Естественно, пришлось бы в Вологде перегружать на бортовую машину, везти на аэродром, там снова договариваться... Потому все начали думать, как переправиться воздухом. Прилетевшие николячане решили сброситься и нанять самолет. Услышав это, московские литературные деятели запротестовали, созвонились с Литфондом и угрожали тамошних начальников включить в это печальное дело.

— Неужели не совестно будет Литфонду? — увещевали они по телефону.— Не проводить в последний путь известного писателя? Это же Яшин!

Литфонд пошел на «разор»...

После траурного прощания в Центральном Доме литераторов гроб повезли на аэродром. Среди множества провожающих были Сергей Орлов, Николай Рубцов, Владимир Солоухин...

В авиации не обходится без нервов. Когда гроб загрузили в самолет «ЛИ-2», экипаж выявил какую-то неполадку. На ночные полеты «ЛИ-2» не рассчитан, а светового времени оставалось в обрез. Надо представить наше состояние. Пришлось бы снова разгружаться и все откладывать на завтра. Женщины плакали, мужчины занервничали и завозмущались, и сострадательные пилоты, видя и понимая муки и слезы родных и близких, не стали вызывать механиков, а сами отыскивали неисправность и быстро устранили ее.

И мы взлетели вовремя. Еще бы полчаса промедления — и диспетчер не выпустил бы. В воздухе немножко поуспокоились, а дети — так еще были юны! — разыгрались в салоне, бегая друг за другом и перепрыгивая через дивану отца. Пришлось урезонить.

Когда подлетели к Вологде, неожиданно

в прогретом июльском воздухе прямо над нами возникла радуга. Словно небесный ореол над мученическим лбом большого русского поэта. На аэродроме поджидали местные пилоты, которые должны были довести машину до Никольска. Световое время быстро убывало, поэтому все торопились. К нам присоединился Александр Романов, которого Яшин всегда сердечно выделял из общей литературной братии.

Но родная природа, которую так хорошо знал, любил и берег Яшин, опять была с ним и за него, и мы все-таки успели. Стоило только приземлиться на никольской земле, и солнце, словно выполнив свой долг, тут же успокоенно село. Гроб выносили из самолета под непрерывное надсадное звучание автомобильных гудков. Тяжела для сердца эта траурная музыка. Но первый секретарь райкома партии Михаил Андреевич Субботин не мог пренебречь незатейливым народным обычаем.

Яшина повезли в его родное Блудново, а мы, везшие московских пилотов ужинать, были поражены единодушием и верностью николячан: они все вышли на центральную улицу и встали шпалерами вдоль нее. Народ хотел попрощаться со своим поэтом, и мы пожалели, что не догадались сначала выставить гроб для прощания в районном Доме культуры. Правда, на следующий день было много автобусов, но они все равно не могли вместить всех желающих поклониться Яшину в последний раз.

На другой день в Блудново стекались люди со всех окрестных деревень. Блудновские мужики отказались от грузовика, который собирался доправить Яшина до места. Перекинули расширенные полотенца через плечи и понесли своего поэта на руках. День был солнечным, на небе ни облачка. В поле стояла в человеческий рост наливающаяся рожь. Говорили, давно такой не бывало, как нарочно — по заказу — вымахала. В прошлом году здесь сеяли горох, и он хорошо подготовил почву. В самом центре огромного поля, когда неторопливая процессия скорбно двигалась к Бобришному угору, вдруг откуда-то набежала маленькая тучка, коротко всплакнула и снова бесследно исчезла. Больше дождя не было весь день.

Так родная природа простилась с Александром Яшиным.

Так простились с ним и мы.

Он со своей землей от души рассчитался недюжинным талантом.

Нам еще придется рассчитывать и рассчитывать...